

**Николай ЕВДОКИМОВ**  
**СТЕПКА, МОЙ СЫН**

1. *Человек на войне.*
2. *Отношение к природе.*
3. *Трагичность любви на войне.*
4. *Проблема бесчеловечности войны.*
5. *Проблема патриотизма.*
6. *Проблема памяти.*

Это бывает не часто, но с годами все чаще и чаще. Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам. Уже светло, но еще горят уставшие за ночь фонари.

На рассвете Москва пахнет росой. Роса лежит на стенах домов, на чугунных оградах парков, на бронзовых плечах памятников.

Птицы – хозяйева утренней Москвы. Их голоса звенят, как в лесу. По Красной площади, урча, ходит голубь. На рассвете мостовая перед храмом Василия Блаженного как луг – из-под булыжников торчит облитая росой трава. Днем ее примнут колеса автомобилей, но сейчас по мокрой траве ходит голубь и урчит. Ветер раздувает перья на его крыльях. Ветер несет запах цветов, и в тишине уже слышно жужжание пчел.

А потом выползают на улицы трамваи и троллейбусы. Еще сонные, они идут усталой, мягкой походкой.

Но вот первый солнечный луч вонзился в купол Василия Блаженного, и купол зазвенел тихим и оглушающим звоном и разбудил реку. Река проснулась, она заворочалась, подставляя солнцу свою остывшую за ночь чешую. В воде отразилось далекое облако, вниз упала тяжелая тень моста. Я иду вдоль реки. Роса высыхает на асфальте, дымятся деревья.

Строится дом. Высоко у края стены стоит парень.

Это Степка, мой сын.

Он кладет кирпич, он осторожно ударяет по нему мастерком. И сразу же в ответ ему со всех сторон несутся другие такие же звуки. Они, как голуби, плывут над рабочей Москвой.

Это Степка, мой сын, разбудил Москву.

Вечером я стою у окна, жду Степку. В доме напротив сидит на подоконнике девушка, грустно глядит вниз, на улицу. Я знаю о ней многое и ничего не знаю. Я знаю, что она любит смеяться, и смех ее так знаком мне, так похож на смех Степкиной матери. Но почему каждый вечер она садится на подоконник и глядит вниз, будто ждет кого-то, а веселое, доброе ее лицо становится таким печальным? Я знаю, она ждет его, но он не идет и не идет...

Она ждет Степку, и я жду. Но я знаю, как сделать, чтобы Степка скорее пришел, а она не знает.

Я закрываю глаза – и вот через мгновение слышу его твердые шаги на пустой улице, слышу, как говорит он своим баском: «Привет!» - это он ей говорит, и вот уже слышу стук ее каблучков по асфальту.

Она бежит к нему и смеется так, как умеет смеяться только она одна. Она и та, другая...

Степке скоро двадцать лет. И мне было двадцать, когда я встретил ту, которую зовут его матерью...

У озера Селигер есть деревня. Там много деревень, но их названия я стараюсь не вспоминать, потому что боюсь забыть одно: Пустошка. Когда мы пришли туда, там стояли только дома: люди ушли далеко к Осташкову, увезя свой скарб. А потом и домов не стало- одни пепелища. Но и за эти пепелища день и ночь шли бои. День... два... месяц... А потом наступило затишье.

Мы вросли в землю, мы стали как духи земли, узнали ее запах и вкус, ее тепло и доброту.

Вокруг блиндажа росла трава, и мы не топтали ее, мы ходили к своему дому по узкой тропинке, боясь поломать живой стебель. Кто научил нас понимать язык трав, я и не помню уже, но все мы умели говорить со стареющими осенними листьями, с кустами, облитыми росой, с цветами, пахнущими огнем.

Блиндаж мы вырыли в лесу за деревней. Но лес скоро поредел, вершины сосен, срезанные снарядами, упали вниз. И трава поредела: утром и вечером каждый день в один и тот же час вражеские минометы били и били терпеливую землю вокруг наших блиндажей. Они вспахали ее. И тем осторожнее обходили мы уцелевшие травинки и обглоданные осколками кусты.

С нами в тесном блиндаже жила мышь: ей тоже дала приют земля. Мышь была отважная, но скромная. Она не воровала хлеб, не залезала в консервы, она научилась сидеть в углу и ждать, как умная собака, подачки. Ночью она любила спать на портянках.

Враг был рядом и был далеко. Узкая полоса земли, на долгие месяцы разделившая наши окопы, была начинена смертью.

В нашем блиндаже жило семь человек. Каждую ночь мы ходили через эту натыканную минами полоску земли к окопам врага. Мы были разведчиками, мы получали на пятьдесят граммов водки больше, чем остальные солдаты, а изредка нам выдавали даже шоколад. Каждую ночь мы ползли к немецким окопам в надежде поймать «языка». Нам бы не надо шоколада и лишних граммов водки, нам бы паршивенький миноискатель, мы бы часто приводили бы «языков»

Но не «языков» мы приводили, мы возвращались, таща на окровавленной шинели одного из наших товарищей. А на следующую ночь снова шли туда. Если бы у нас был миноискатель!

Но у нас его не было – ведь шел тяжелый сорок первый год. Мы срубили деревце, обтесали его, и получился шест. Этот длинный скользкий шест

заменял нам миноискатель. Мы шарили им перед собой, надеясь задеть мину и обмануть смерть.

Шест елозил по земле, он скрежетал, как гусеница танка, он гремел в ночной тишине, как сто тысяч пушек, и враг перепугано бросал в небо желтые ракеты. И тогда не мы, а наши тени достигали его окопов. И вот начинал лаять пулемет, красные точки трассирующих пуль суетливо носились в разные стороны. А мы ползли вперед, закусив окаменевшие губ.

Красные пули летели прямо на нас, а мы ползли...

Мы и мертвые ползли бы вперед, но сержант командовал возвращаться. И снова мы тащили одного из нас на мокрой от крови шинели. Уже не семь нас было в блиндаже, а шесть., но скоро приходил новенький, и снова нас было семь. Мы возвращались, и там, где начиналась нейтральная полоса, возле наших окопов, нас ждала Анка, санинструктор.

У нее были мягкие руки, нежные, как трава. Она знала много добрых слов, и, конечно, это она изобрела те простые, но загадочные своей исцеляющей силой слова; «Потерпи, миленький», - которые потом, как песня, облетели все фронты, все госпитали.

Мне было двадцать лет, и я не знал других женских рук, кроме старых, натруженных рук моей матери. Но удивительно, руки Анки пахли, как руки матери. Она же была девчонка – ей девятнадцать было, но руки ее, знавшие столько страданий и смертей, были старше, были мудрее ее самой.

Время на войне летит стремительно, как пуля, и одновременно тащится медленно, как ротный повар на своей кляче. Мы любили друг друга – я и наш санинструктор.

Любовь наша была короткой и долгой, бесконечной – годы прошли, а мы вместе, всегда вместе.

Мне было двадцать, и поэтому я верил в свою неуязвимость. Гибли мои друзья, но я знал: меня нельзя убить, нельзя потому, что мне двадцать лет, потому, что там, у наших окопов, ждет меня Анка.

И я возвращался к ней. Я не шел в блиндаж спать: мы бродили с Анкой в синей мгле, уходили далеко к Пустошке, где ночь и день трещали, вспыхивая кладбищенскими огоньками, сотни раз перегоревшие пепелища.

Горизонт горел зловещим и прекрасным огнем, а за ним глухо и размеренно ухали, ворчали, молили человеческие жизни жернова войны. Над головой, где-то выше темных облаков, летели дальнобойные снаряды, мы слышали их шелестящий свист.

Здесь, в Пустошке, при свете пепелищ, я первый раз поцеловал Анку. Щеки Анки, ее губы были как мох, как пух. И я удивился. И Анка поцеловала меня и тоже удивилась чему-то.

Дни шли, недели шли... Все теперь знали о нашей любви и берегли нас, как остатки травы вокруг блиндажа.

Что сделалось с Анкой, я понять не мог. Глаза ее светились даже в темноте, и ребята шутили, что надо на них вешать маскировочные шторы, иначе прилетят на огонь вражеские самолеты. Анка теперь ходила по земле

осторожно, будто по камешкам шла через ручей, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то.

Однажды днем мы забрели с ней в Пустошку. Мы шли держась за руки и молчали, и оба улыбались неизвестно чему, просто от того, что были счастливы.

За Пустошкой упала мина – в неурочный час начали немцы обстрел деревни: что они хотели от этого выгоревшего клочка земли, мне и сейчас непонятно, будто там был невесть какой важности стратегический объект, а не перегоревшие угли.

Мы с Анкой побежали в лесок и легли за холмиком, пережидая обстрел. Выли мины, вздымая пепел, грязную землю. Анка лежала, опираясь на локти.  
- Дай сахару, - сказала она.

Утром нам выдали по куску сахара, свой она давно сгрызла, но знала: я не съел, я берегу для нее.

- А чай с чем будем пить? – спросил я.

- Дай!

Но я не дал ей сахар. Не от жадности: я же берег для нее. И она не обиделась. А мины выли и выли, они ложились все ближе. Уже было слышно, как жужжат, будто рой пчел, осколки...

- У нас будет сын, - сказала Анка, - слышишь, у нас будет сын! Он будет похож на тебя... А назовем его Степкой...

Все это было так давно...

Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам. На рассвете Москва пахнет бензином и бетоном.

Степка строит дом. Скоро стены его запахнут краской. Осталось совсем немного – скоро, скоро построит дом Степка. Дом, пахнувший краской и хлебом...

...Ничего не построит Степка! И ты его не жди, девочка на подоконнике. Он не придет никогда...

- А назовем мы его Степкой... - проговорила Анка, и оба мы услышали жужжание осколка.

- Ой! – печально и удивленно сказала Анка и опустила на траву голову.

- Не шути! – кричал я и, плача, совал в ее холодеющие губы сахар.

Роса блестела на траве. А из травы у самой Анкиной головы торчала черная шляпка гриба.

Тогда я почти не заметил его, этот гриб, но с годами он словно рос и рос в моей памяти. Он разросся до гигантских размеров, готовый прикрыть своей смертоносной шляпкой весь мир, не из доброй земли он берет соки...

